

Александр Куприн

Мясо



Александр Иванович Куприн

Мясо

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2472455

Аннотация

«Борис Полубояринов, студент-медик, проснулся, как и всегда, в начале восьмого часа. На дворе было светло, хотя солнце еще не всходило; замерзшие на оконных стеклах ледяные узоры – снежные елочки, кладбищенские кресты и пальмы – окрасились в розовый нежный цвет утренней зари. День обещал быть морозным и ясным...»

Содержание

I	4
II	8
III	11
IV	15
V	17
VI	21
VII	24
VIII	26

Александр Иванович Куприн Мясо

I

Борис Полубояринов, студент-медик, проснулся, как и всегда, в начале восьмого часа. На дворе было светло, хотя солнце еще не всходило; замерзшие на оконных стеклах ледяные узоры – снежные елочки, кладбищенские кресты и пальмы – окрасились в розовый нежный цвет утренней зари. День обещал быть морозным и ясным.

Борис вскочил с постели и быстро, с ощущением здоровой свежести и молодой силы во всем теле, принялся за свой обычный туалет. Прежде всего – сильный холодный душ, заставивший его затрепетать и громко расхохотаться, затем – полчаса упражнений с гирями и каучуком, после того – тщательное занятие зубами и ногтями и в конце концов – десять минут перед зеркалом, посвященные прическе, галстуку и молодым, чуть темнеющим усикам.

Покончив с туалетом, Борис позвонил. По давно заведенному обыкновению, лакей принес ему четыре только что сваренных всмятку яйца, накрытых салфеткой, холодное мясо,

полбутылки английского портера и чай. Борис, живо интересовавшийся гигиеной и читавший по этому вопросу все, что выходило у нас и за границей, уже целый год вел жизнь в пределах строгого и точного режима: аккуратность в распределении времени, спорт всех родов и видов, хорошее питание и отсутствие излишеств и волнений. По положению и связям своих родителей Борис принадлежал к замкнутому и весьма немногочисленному кружку М-ских студентов-аристократов. Этот кружок, взявший за образец аристократические кружки Кембриджа и Оксфорда, ничего не имел общего с теми студентами, которые белыми подкладками, исковерканным, расслабленным произношением, скандалами, лихачами и лжепатриотическими громкими чувствами приобрели себе такую некрасивую репутацию. Кружок Бориса требовал от членов прежде всего полной корректности и умения держать себя с той изящной и безукоризненной простотой, которая служит лучшим доказательством воспитания и хорошего тона. Князь Белый-Погорельский, высочайший тип истого джентльмена, первый показывал в этом отношении товарищам недостижимые примеры порядочности. Он пользовался уважением всего кружка, к нему обращались как к третьейскому судье в щекотливых случаях, его выбирали делегатом во всех рискованных историях, где надо было пустить в ход громкое имя и связи. Тем не менее prince Rogorelsky¹ всегда оставался на значительном расстоянии от

¹ Князь Погорельский – *фр.*

обыкновенных смертных. Борис втайне обожал князя и тщательно копировал и покрой его сюртуков, и его пленительную простоту в обращении; от него же он перенял себялюбивую страсть к гигиене тела и к физическим упражнениям. Но до высоты своего образца – он это чувствовал – Борис никогда не смог бы подняться. Князь Белый-Погорельский изумительно хорошо владел рапирой, плавал, как профессионал, греб, как матрос, считал за собою два велосипедных рекорда, «выбрасывал» двумя руками пятипудовую железную штангу, говорил по-французски, как парижанин, и ходил пешком без усталости, несмотря на то, что отец недавно подарил ему пару отличных вороных рысаков. К князю Погорельскому никто из малознакомых не посмел бы подойти, взять его за талию и фамильярно сказать: «Escoutez, cher ami»², как это сделал недавно в курилке по отношению к Борису Телегин – фатишка и скандалист из купеческих сынков. Но во всяком случае, Борису льстило, что он так радушно принят в кружке князя Белого.

Окончив завтрак, Борис посмотрел в свой календарь, где против каждого дня на белом листке он сам вписывал заранее, что в этот день надо предпринять. Сегодня день был не особенно занят: «Анатомический театр непременно», «Лекция Т.», «Вечером у В. К.». Первая отметка заставила Полубояринова брезгливо сморщить нос: посещение анатомического театра он давно уже откладывал со дня на день из

² Послушайте, милый друг. – *фр.*

какой-то странной нерешительности, так что в конце концов получил даже замечание от профессора. Зато последнее – «вечер у В. К.» – вызвало на губах Бориса довольную улыбку. Под этими инициалами подразумевалась жена одного из приятелей его отца. Борис недавно, всего месяца два тому назад сошелся с нею. Третьего дня он узнал, что муж ее сегодня должен отправиться в командировку, и таким образом целых двое суток были в распоряжении Бориса.

II

Утро было ясное, сверкающее. Снег, нападавший ночью и еще не изборожденный полозьями, лежал ровными пеленами, розовыми на солнце, синеватыми в тени. В воздухе стоял прозрачный морозный блеск, захватывавший при дыхании горло.

Борис шел по направлению к анатомическому театру большими гимнастическими шагами, засунув руки в карманы летнего пальто (обыкновение носить зимою летнее пальто он перенял у князя Белого, который в этом случае тоже подражал гвардейским офицерам). Его радовало и ясное утро, и чувство бодрости и здоровья во всех членах, и веселое, звонкое поскрипывание снега под ногами. В иных местах упругий снег так плотно слежался, что звенел под каблуком, точно чугунная плита. Порою Бориса обгоняли извозчичьи сани, визжа полозьями, но он не хотел садиться — на ходьбу Борис смотрел, как на физическое упражнение.

Но по мере приближения к анатомическому театру Борис почувствовал, что его мысли принимают неприятный оттенок. Конечно, пойти необходимо, нечего и говорить. И профессор на днях сказал, что, кажется, господин Полу-бояринов не посещает анатомического театра, и товарищи несколько раз спрашивали, отчего он не приходит? Могут подумать, что из трусости. Но эта пачкотня ужасно против-

на. Потом, наверное, целый день будет казаться, что руки пахнут. И, наконец, Борис питает решительное отвращение к покойникам. Тут не трусость, – это, конечно, было бы смешно, – нет, а просто чувство здорового, сильного человека при виде смерти и разрушения. Не будь желания отца, Борис непременно выбрал бы другой факультет, тем более что «наши» почти все на юридическом, кроме этого психопата Мельникова, помешавшегося на математике, и двух филологов, которые готовятся куда-то в китайские посланники. Отец держится того мнения, что медицинский факультет один только может приучить к постоянному и упорному труду. Странное мнение. Положим, ему простительно так думать, потому что он сам – медицинское светило.

Вдали показалось громадное серое здание анатомического театра. По дороге начали Борису попадаться студенты. Они шли туда же кучками по три, по четыре человека, с книгами под мышками. С некоторыми Борис был знаком и издали раскланялся. Один из студентов, Затонский, трудолюбивый и скромный молодой человек, отделился от своих товарищей и догнал Бориса.

– Здравствуйте, Полубояринов, – сказал Затонский, задыхаясь от быстрой

ходьбы. – Вы знаете, что мы с вами в одной партии?

– Да, благодарю вас. – Борис пожал ему руку и, видя, что Затонский хочет уйти, задержал его и добавил: – Пожалуйста, пойдемте вместе. Вы знаете, я ведь в первый раз, так не

согласитесь ли вы быть моим Вергилием?

– С удовольствием, – отвечал Затонский, широко улыбаясь. – Мне самому в первый-то раз жутко было.

Но Борис не хотел признаться в своей нерешительности.

– Мне не то чтобы жутко, – сказал он, – а просто я не знаю, куда там нужно идти, что делать, как держать инструмент.

– Э, пустяки! Вам и резать-то ничего не придется. Так, сначала только

посмотрите, пока не привыкнете.

III

Они вместе вошли в шинельную и разделись. Борису казалось, что он уже отсюда слышит тяжелый, гнилой запах. Он вздрогнул от какого-то ощущения, похожего на холод, и – странно – после этого уже никак не мог согреться и все дрожал мелкой нервной дрожью.

– Что вы такой бледный, Полубояринов? – окликнул его студент, товарищ

Бориса по гимназии. – Не выспались?

В шинельной было тесно и шумно. Одни приходили, другие уходили; дверь поминутно открывалась и закрывалась, выпуская каждый раз резкую холодную струю воздуха. Между молодыми, свежими, словно девическими лицами мелькали серьезные, бородатые физиономии студентов последнего курса. Эти пользовались правом носить штатское платье, и молодежь относилась к ним с оттенком некоторого почтения.

Полубояринов и Затонский из шинельной прошли в длинную анатомическую залу, освещенную с обеих сторон высокими окнами; целый поток яркого света лился сверху из громадного стеклянного купола. Вдоль обеих стен и посередине, саженях в двух один от другого, стояли три длинных ряда высоких столов, сверху обитых цинком. Затонский, в качестве опытного человека, давал пояснения.

– Видите по диагоналям желобки? – говорил он, указывая на поверхность одного незанятого столика. – Это – для стока всяких жидкостей. А посредине отверстие и трубка, проведенная внутрь стола. Вот поглядите. – Затонский выдвинул сбоку стола ящик, обитый изнутри металлом, – В этот ящик все и стекает. Цинковые столы – самые лучшие. Мраморные, пожалуй, и чище, но зато скользят: руку упереть негде. А всего хуже работать на деревянных – те прямо насквозь пропитываются.

Они шли дальше. Запах становился все гуще, тяжелее и невыносимее. Борису казалось, что он весь пропитывается этим ужасным запахом; голова его слегка кружилась от непривычки. Вокруг одного стола столпились кучкой студенты, и в просветах между их черными сюртуками Борис с содроганием замечал желтое оголенное тело. Он подошел ближе. На столе лицом вниз, весь голый и – что показалось всего ужаснее Борису – без подстилки («точно вещь какая», – подумал он) лежал плотный мужчина с синей шеей и приподнятыми плечами. Борису особенно бросились в глаза руки трупа, с грязными отекавшими пальцами, из которых большие были загнуты внутрь, к ладони. Один из студентов, в переднике, ловкими движениями подрезывал кожу на спине. От разрезанного свежего трупа пахло сырой говядиной, как из двери мясной лавки.

Оглянувшись кругом, Полубояринов заметил, что почти все столы заняты. Вокруг двух столов студентов не было –

и трупы лежали совсем на виду, неподвижные, вытянутые, желтые, с высоко поднятыми грудными клетками. И Борис с невольной жадностью и с выражением брезгливого ужаса на лице приковывался глазами к трупам, мимо которых они с Затонским проходили. И опять его чуткое, повышенное обоняние различало новый оттенок запаха: от давнишних трупов, политых дезинфицирующими жидкостями, пахло жареным мясом – тем самым запахом, который до обеда дразнит аппетит, а после обеда так противен.

Голова его кружилась сильнее и сильнее. Его все более ужасала своей простотой та мысль, что вот эти люди, которые ходили, думали, говорили, надеялись, любили, точно так же как и он ходит, любит и думает, вдруг в какие-нибудь две-три минуты, в силу какого-то непостижимого, но, вероятно, очень простого закона, они стали тем, чем они теперь есть: холодными, отвратительными, гниющими предметами. Борис, благодаря своему тепличному воспитанию, в первый раз столкнулся так близко и так жестоко с ужасным лицом смерти и с мыслью о ее неизбежности. Конечно, он давно знал, что люди умирают, но знал это как-то неуверенно, поверхностно, теоретически, и теперь его привело в трепет то новое для него сознание, что и его тело, сильное и здоровое, когда-нибудь станет таким же холодным, страшным предметом, как и те, что лежат на цинковых столах. Когда прежде он видел мертвеца при сиянии свеч, в кадилльном дыме, в парчовом гробу, – тогда ужас смерти смягчался торжествен-

ностью обряда и той надеждой на будущую жизнь, которую обещали слова печальных молитв. Теперь же Бориса в первый раз охватило мгновенно страшное значение смерти...

IV

– А вот наша партия. Что вы так задумались, Полубояринов? – сказал Затонский. Они подошли к четырем стоящим в конце залы студентам и поздоровались. Кто-то опять заметил Полубояринову про его бледность.

– Ну, теперь все в сборе, можно и за трупом идти, – сказал высокий и плечистый студент Дорошенко, занявший как-то невольно в партии роль руководителя. – Айда, братцы, в трупарню. У нас сто пятый номер. Помните?

Все тронулись за ним следом.

– Что это за сто пятый номер? – спросил Борис у своего путеводителя.

– Это номер трупа. Их всех здесь по номерам расписывают. Увидите сами.

Хорошо, если еще свежий труп попадется, а то иной раз... просто мочи нет...

У дверей трупарни студентов встретил Захарыч, старый севастопольский унтер, седой, пьяный и небритый, но с николаевской выправкой.

– Какой номер?

– Сто пятый, – ответил за всех Дорошенко. Захарыч отворил дверь и впустил партию. Тяжелый, жирный запах на несколько секунд заставил Бориса закрыть лицо руками. Вся комната сплошь была, точно дровами, завалена трупами, и

тут действительно Борис увидел, что у каждого трупа на ноге была проставлена грубыми чернильными мазками цифра. В углу в беспорядке валялась куча грязного, частью кровавого тряпья. Все это были одежды, в которых привезли покойников.

Захарыч вместе со своим помощником, глуповатым, вечно улыбающимся гигантом, положили сто пятый номер на носилки и подняли. Борис видел, как заколыхалась стриженная голова и заколыхались опустившиеся с носилок бледные руки. Но когда несущим пришлось около двери сделать поворот, то в кучке студентов произошла давка. Кто-то нечаянно толкнул Бориса вперед, и он не успел отстраниться, как одна из болтающихся холодных каменных рук задела его по лицу. Борис дико вскрикнул, затрясся и упал без чувств.

V

Переодевшись дома с ног до головы и надушившись крепкой эссенцией модных духов, чтобы заглушить преследовавший его трупный запах, Борис махнул рукой на лекцию и отправился в «гимнастическое общество», где в эту пору собирался спортсменский кружок князя Белого-Погорельского. Его инстинктивно тянуло туда, где было больше шума и движения.

Зала, когда в нее вошел Борис, была полна. Посредине пять или шесть пар гимнастов в проволочных масках, в замшевых нагрудниках, с уродливыми перчатками на руках, фехтовали, громко топя ногами при выпадах. Несколько человек в трико работали на трапециях и турниках. Пахло здоровым потом и деревом пола, только что сбрызнутого водой.

Борис прямо прошел в тот конец залы, где около пирамиды с тяжестями собралась густая кучка зрителей, тесно обступившая трех молодых людей в трико, с голыми мускулистыми руками и шеями.

– А! Борис Ильич! Боренька! – слышались навстречу Полубояринову дружеские приветствия. – Идите, идите сюда скорей! У нас здесь интересное состязание.

Борис подошел ближе и поздоровался с знакомыми. Состязались: князь Белый, известный местный силач податной инспектор Шахтин и профессиональный геркулес из цирка –

Франц Ризенкампф. Ризенкампф внашал кружку серьезное опасение своими чугунными мышцами, вокруг которых чуть не лопалась обтягивавшая их кожа.

Состязание началось с пяти пудов. Каждый из трех брал, ладонями внутрь, длинную железную штангу с большими шарами на концах, взбрасывал ее на грудь, а с груди толчком всего тела выкидывал кверху. После каждого тура в шары всыпали горсть или две картечи. Князь отстал на пяти с половиной пудах. Ризенкампф, весь мокрый от усилий, еле справлялся со своей тяжестью, пыхтя и багровея. Шахтин работал удивительно чисто и только все более и более бледнел, – он, как и все почти силачи, злоупотребляющие гирями, страдал пороком сердца. Видно было, что победа останется за Шахтиным.

Но Борис на этот раз вяло следил за состязанием. Мысли его упорно и однообразно возвращались к утренним впечатлениям. Он глядел остановившимися глазами, как шары перекатывались упругие мышцы Ризенкампфа под тонкой глянцевитой кожей, и думал о том, как в этой массе, состоящей из мяса и костей, когда-нибудь угаснет жизнь, точно пламя свечи от дуновения, провалятся эти маленькие, голубые немецкие глаза, разлезутся и сгниют страшные мускулы. И для чего стараться устраивать свою жизнь, для чего хлопотать, наслаждаться, огорчаться, если в конце концов единственная цель жизни – это сделать из человека разлагающуюся мертвую материю? О, как это бессмысленно! И краса-

вещ Погорельский, и бледный силач Шахтин, и Затонский – все, все и – что всего ужаснее и несправедливее – и он сам, Борис, когда-нибудь станет таким же, как этот сто пятый номер. Какая же цель жизни после этого?

К Борису подошел художник Ивич, постоянно с ним фехтовавший, и, взяв его под руку, спросил, будет ли он сегодня драться. Борис задержал руку Ивича и пошел с ним вдоль залы. Ивич всегда очень нравился ему какой-то особенной мягкостью, почти нежностью, придававшей его лицу, улыбке и голосу чарующее выражение, и Борису вдруг неудержимо захотелось рассказать художнику все, что его в этот день волновало. Рассказ Бориса был нестроен, местами неясен. Он очень спешил и мучился тем, что не может найти достаточно сильных и точных выражений для своих мыслей, но тем не менее Ивич, слушавший чрезвычайно внимательно, сразу понял то *главное*, что хотел выразить Борис.

– Это впечатление и мне знакомо, – сказал он, ласково улыбаясь. – Однажды, когда я еще был в Москве, при мне какой-то господин бросился в половодье с Чугунного моста. Народу на мосту – целая пропасть, и все кричали, охали, подавали советы, однако помочь никто не решался. А господин этот то нырнет, то опять покажется, и все руками машет, судорожно так, видно, что уж сам не рад, что бросился. Ну, покамест там лодки отвязывали да круги спасательные, он последний раз выплыл, крикнул что-то, – разобрать нельзя было, – пошел вниз, точно камень, и только над ним – буль-

буль-буль, пузыри запрыгали. Я тогда еще совсем молод был, и меня вдруг точно обухом по голове хватило: неужели такая простая штука – человеческая жизнь? Несколько пузырей – и все кончено, все ощущения, мысли, чувства! И помню, меня тогда страшно удивило, что я до тех пор как будто бы *не знал*, что люди умирают, а в тот день вдруг узнал и поверил. Я, знаете, даже думаю, что это ощущение должен испытать каждый человек в период возмужания.

– Да, вы это очень хорошо выразили! – промолвил задумчиво Борис.

– А вам, – рассмеялся художник и пожал руку Борису, – вам я советую теперь как можно меньше оставаться наедине с самим собой. Отправляйтесь-ка вы в театр или куда-нибудь на вечер, да поухаживайте за женщинами, да вина хорошего выпейте. Так-то и ладно будет.

Борис посмотрел на часы. Уже пора было ехать к Валерии Карловне, но, против обыкновения, он не ощущал при этой мысли того сладкого, истомного сердцебиения, которое он всегда испытывал, отправляясь в условленный час на свидание. Валерия Карловна была его первой *настоящей* связью.

VI

– Дома барыня? – спросил Полубояринов отворившую на его звонок горничную Стасю.

Он всегда задавал этот вопрос для соблюдения приличия, так как отлично видел по лукавому, хорошенькому личику Стаси, что она посвящена во все тайны своей госпожи.

– Барин уехал, а Валерия Карловна у себя. Пожалуйста!

Борис был сравнительно очень недавно знаком с Валерией Карловной. Его представили ей на маленьком вечере у Челищевых месяца два с половиною тому назад. Ему сразу очень понравилась эта темная шатенка с кошачьими движениями, вся в завитках, – завитки у нее были и на лбу, и на висках, и на белой прекрасной шее, – с ртом упоительно ярким. Если бы он был тогда наблюдательнее и опытнее, он заметил бы, что и он ей нравится, – по крайней мере, Челищевы в тот же вечер пригласили его посещать их дом. Ему теперь смешно было вспомнить, как долго он оставался в наивном неведении. Она первая взяла на себя почин и анонимным письмом назначила ему свидание в маскараде. Он влюбился в нее так слепо и безрассудно, как только может влюбиться подросток в замужнюю женщину, влюбился до такой степени, что ревновал ее даже к мужу, плешивому добродушному генералу, державшему где-то на стороне веселую девицу. Все в ней ему казалось мило: и едва уловимый польский акцент в разгово-

ре, и некоторая вульгарность в интимные минуты, и легкомысленные, насмешливые взгляды на семью, замужество и обязанности женщины. Кроме того, его мужскому самолюбию чрезвычайно льстила эта связь с дамой из света, и он иногда позволял себе в тесном товарищеском кругу, развалившись в кресле, дымя папиросой и положив самым невозможным образом ногу на ногу, рассказывать некоторые пикантные подробности своих свиданий, рассказывать тоном старого, искусившегося мужчины, не называя, впрочем, имени.

Валерия Карловна встретила его в полутемном коридоре. На ней был атласный черный капот с широкими рукавами, разрезанными от кисти до плеча.

– Милый, милый! – залепетала она, обвивая его шею голыми руками и прижимаясь к нему. – Ты у меня сегодня до утра? Да? Правда? И завтра тоже слышишь, непременно, непременно! Он на целых два дня уехал. Дай мне твою шапку.

Она повела его в свой будуар, идя впереди и держа обеими руками его руку, точно боясь, что он хочет уйти. О, как хорошо был знаком Борису этот будуар – «спальня баядерки», как он называл его мысленно, весь в цветах, установленный турецкими диванами, на которых удобнее было лежать, чем сидеть, с китайскими зонтами вместо абажуров над лампами, весь пропитанный ярким запахом розы. Сколько раз, уходя отсюда ранним утром и ложась дома спать, Борис с на-

слаждением чувствовал от своих рук и лица этот тонкий запах цветов, смешанный с запахом пудры и свежего женского тела.

VII

Борис сел, а Валерия Карловна принялась болтать, смеясь и сопровождая разговор жестами и мимикой.

– Ты думаешь, мой генерал так прямо взял и уехал? О нет. Он мне прежде прочел родительское внушение:

«Дитя мое, – и она начала копировать генерала, – веди себя хорошо, не кушай много фруктов, ты знаешь, как тебе это вредно. Если будешь выходить, закутывайся получше». И потом вдруг, ни с того ни с сего, заговорила детским голосом: «Дусецка, будес умница, я тебе конфетку пливезу». Ах, я болтаю, ты, может быть, кушать хочешь? – перебила она свою болтовню, – я нарочно велела твоих любимых рябчиков достать.

В столовой она сняла крышку с одного из блюд, стоящих на столике, накрытом на два прибора. Запах жареной птицы заставил Бориса вздрогнуть от отвращения.

– Ах, ради бога, не надо! Закрой! Закрой скорее! – сказал он, морщась и махая руками. – Будь добра, налей лучше мне вина.

Она исполнила его просьбу, потом, шумя капотом и шелковой юбкой, опустилась перед ним на колени и, взяв его руки в свои, опять принялась щебетать:

– У меня нынче была Софи Ренталь, и, вообрази, мы говорили о тебе. Она тебя находит недурным. Какая дерзость!

А я только улыбнулась, конечно, незаметно для нее, и говорю: «Удивляюсь, что вам может в нем нравиться! Так себе, мальчик белобрысый, да и не мужчина еще». Ты, конечно, знаешь, милый, я ей это нарочно сказала. Ты лучше всех в мире. Ты мой, милый, милый, милый, милый...

И, повторяя это слово и смеясь, она с каждым разом целовала поочередно его руки. Он нагнулся, чтобы поднять ее. Она, как будто бы этого и ждала, вскочила к нему на колени и жадно прильнула своим прекрасным ртом к его губам. Борисом внезапно овладело брезгливое чувство. Запах дичи и ощущение голых рук на щеках вдруг с ужасной силой перенесли его в анатомический театр, и он с поразительной ясностью вспомнил болтавшуюся мертвую руку, задевшую его по лицу. Одно мгновение ему даже показалось, что он галлюцинирует, и ему сделалось тошно.

– Извини, Валя, – сказал Борис, вставая и осторожно освобождаясь из ее объятий, – я сегодня страшно расстроен и не могу долго быть.

Он протянул ей руку, но она не двигалась и, крепко закусив нижнюю губу, тяжело дышала.

– Дай мне фуражку! – сказал Борис. – Я обещаю, что приду завтра. Она вся вспыхнула, бросила его шапку на пол и почти закричала:

– Вот ваша шапка! Идите!.. Вы помните наш адрес? Жандармская, тридцать пять. Так вот... забудьте его навсегда... Мальчишка!

VIII

Придя домой, Полубояринов долго ходил взад и вперед по своему кабинету. Голова его горела, в виски что-то стучало напряженно, неровно и часто.

– Боже мой, боже мой! – шептал он тоскливо. – Жить и постепенно *этого* ожидать, каждый день, каждую минуту! А потом? Потом будешь лежать, как те голые, будешь лежать год, двадцать лет, сто... И об этом позабудут... все... Для чего же мне эта жизнь, если я каждую секунду должен думать о смерти? Ах, как все это гадко, как это все гадко!

В это время его взгляд упал на револьвер, висевший над диваном на гвоздике. Борис взял его, взвел курок и посмотрел на барабан. Все шесть гнезд были заряжены. Борис сел перед зеркалом и, взяв дуло в рот, положил палец на собачку. «Ведь какая глупость – жизнь, – мелькнуло у него в голове, точно какой-то отрывок из старого романа, – маленький свинцовый шарик в одну секунду погасит ее, и царь природы, со всеми радостями и огорчениями, станет куском земли. Стоит только надавить на собачку и...» Борис слегка нажал палец. Собачка упруго подалась.

Борис поглядел на себя в зеркало и увидел бледное лицо с испуганно блестящими глазами. Сердце его так и колотилось в груди. «Ну, теперь еще... чуть-чуть...» Собачка еще подалась, но с большой упругостью.

«Теперь одно только ничтожное усилие – и конец! – подумал с ужасом Борис. – Ну!..»

Вдруг им овладел такой ужас смерти, что, задрожав всем телом, он швырнул револьвер на кровать.

«Жить! Жить! Жить! – точно закричали в нем тысячи оглушающих голосов. – Жить во что бы то ни стало, как можно больше, как можно шире!» И Борису страшно захотелось сейчас же, сию минуту прильнуть к чаше жизненных радостей и пить из нее до усталости, до самозабвения. «К Валерии!» – жадно закричало у него в голове, и он, быстро схватив фуражку, без пальто и калош, выбежал на улицу...

– Милый мой, – говорила на рассвете Валерия Карловна, провожая до двери усталого, бледного, едва стоявшего на ногах, но счастливого Бориса, – отчего ты сегодня был такой странный, точно... – она задумалась, приискивая выражение, – точно ты за один день большим сделался, мой мальчик?

Он посмотрел на нее, засмеялся и, вспомнив слова художника, ответил:

– Да, Валя, ты нашла настоящее слово. Я сделался большим, потому, что понял жизнь и смерть. Теперь уже поздно, а завтра ночью я тебе расскажу все подробно.